26.3.94.

Это сейчас на сцене Большого театра поют, либо танцуют, а когда-то еще и говорили, причем говорили о вещах самых обыденных. Однажды, к примеру, прозвучали такие слова: «Нет, как у меня деньги-то в кармане, так мне что хочешь пой, я никого и слушать не хочу».

Реплика самая что ни на есть проходная, а зал разразился аплодисментами. Почему? Все очень просто: публика не на реплику реагировала, а на то, что произошло сразу после нее. На сцене появилось новое лицо, совсем молодая женщина. Ее-то и приветствовал Большой театр. Ей-то, даже рта не успевшей раскрыть, и предназначались аплодисменты. Ибо нынешним вечером она была здесь главным действующим лицом: представление, извещали расклеенные по Москве афиши, давалось в ее пользу. «Императорскими российскими актерами представлено будет в пользу актрисы г-жи Никулиной-Косицкой...»

Фамилия была набрана крупным шрифтом, потеснив все остальные имена. Для большинства нынешних театралов она мало что говорит (хотя не затерялась бесследно: откройте современный энциклопедический словарь, и вы найдете ее там), но в середине прошлого века ее знал каждый москвич.

Выросла Любовь Косицкая на Волге, успела побывать крепостной, в девять лет обрела свободу, но вожделенная свобода эта показалась ей недостаточной, и в шестнадцать она сбежала из дому. А четыре года спустя Малый театр, где тогда царствовал Щепкин, распахнул перед ней двери. Успех молодой актрисы был столь оглушитель, что для ее бенефиса в январе 1853 года предоставили сцену Большого театра. В триумфе никто не сомневался, лишь один-единственный человек во всем театре нервничал и не находил себе места. Это был 30-летний автор пьесы Александр Островский.

Пьеса называлась «Не в свои сани не садись». Впоследствии драматург провозгласит ее лучшим своим творением, а через двадцать с лишним лет напишет в альбоме одного своего друга: «В бенефис Л. П. Косицкой, 14 января 1853 года, я испытал первые авторские тревоги и первый успех».

Конечно, это был очень рискованный поступок — выбрать для своего бенефиса пьесу автора, которому до сих пор судьба не даровала счастья услышать со сцены ни одной написанной им фразы. Но эта волжанка умела рисковать. Без колебаний протянула руку невезучему доселе сочинителю. И с той же решимостью, придет час, она отклонит руку его — руку и сердце, которые предложит ей теперь уже прославленный драматург, всероссийская знаменитость, предпочтя ему...

Но до этого еще далеко. Большая, на годы растянувшаяся любовная драма только-только начинает разыгрываться: бенефис Косицкой на сцене Большого те-

атра — всего лишь ее первый акт. Прологом же следует считать тот февральский день 1852 года, когда хоронили Гоголя.

В числе тех, кто выносил гроб с телом писателя, был Островский. Смолodu зябнувший, он совершенно продрог и, когда у Никитских ворот гроб подхватили студенты, с благодарностью принял приглашение сесть в сани. Тут-то, в санях, едва впереди засверкали на чехлом зимнем солнышке колокольни Данилова монастыря, на кладбище которого уже разверзла свой зев могила, и прозвучал впервые дивный монолог Катерины из будущей драмы «Гроза».

как называли Косицкую, и произносила их. Произносила мысленно, в письме к Островскому. «Меня, — признавалась, — что-то жжет», но что именно, угадать, дескать, не может, и выказывает предположение, что это не что иное, как «прикосновение ваше ко мне, которого я боялась и боюсь теперь, а сама не прячусь и не бегу от него, а стою на одном месте». Чего же все-таки боится отважная волжанка? Того, может быть, что ее обманут? Что станет игрушкой в руках коварного искидателя?

О нет, этого как раз не боится. «Я знаю Ваше сердце, — уверяет она автора «Грозы», и

ся сердце да дрожит каждая жилка».

Катерина не знает и вообразить не может, а он, ее создатель, и знал, и вообразил, и вывел в пьесе молодого краснобая, в которого Катерина влюбляется слепо и безоглядно, губя себя. И вывел, надо сказать, не впервые.

«...Как увидела я этого красавца, так у меня сердце и упало: ну, думаю, быть беде. А он, как нарочно, такой ласковый, такие речи говорит».

Косицкая произнесла природно эти слова со сцены Большого театра в тот самый бенефис, что состоялся в январе 1853 года, а пятью месяцами позже,

лать-то! — сокрушалась устами актрисы Косицкой героиня той бенефисной пьесы. — На грех я его увидела! Так вот с тех пор из ума нейдет, и во сне все его вижу. Словно я к нему привороженная какая».

Ей говорили: он, купчишка Соколов, — ничтожество, он недостойн мизинца ее, но своевольная, свободолубивая волжанка не желала слушать даже такого авторитета, как Островский.

«Я не могу быть тем, чем вы предполагаете (теперь уже «вы» в письмах ее — только с маленькой буквы, а случилось, и «ты» проскальзывало), я не могу, как и прежде, связываться с кем бы то ни было, и могу любить человека, который будет мне по сердцу, кто б не был он...»

Любовь Павловна старалась, впрочем, подсластить пилюлю. «Я горжусь любовью вашей», — исповедовалась она, — но должна потерять ее, потому что не могу платить вам тем же, но потерять дружбу вашу, вот что было бы тяжело для меня, не лишайте меня этого приятного и дорогого для меня чувства, если можете».

Вечный сюжет: ты любовь свою предлагаешь, а тебе в ответ — дружбу...

В конце письма бывшая возлюбленная смиренно просит простить ее. «Я не шутила с вами и не играла душой вашей, а я себя не помнила, вот вся вина моя, до свиданья, добрый друг мой».

Тут «лучшая из Катерин» почти дословно цитирует свою героиню. «Ну, прости меня, — взмалывается та. — Не хотела я тебе зло сделать; да и в себе не вольна была. Что говорила, что делала, себя не помнила».

Но это уже конец драмы, а в начале Катерина говорит о страхе, который вдруг ни с того ни с сего накатывает на нее. «Точно я стою над пропастью и меня кто-то туда толкает, а удержаться мне не за что».

Не удержалась... Рухнула в бездну... И Катерина рухнула, и та, что когда-то вдохновила мастера на создание этого образа.

Сначала исчезли цветы из рессорного экипажа, потом экипаж исчез, а потом и его владелец Соколов, успевший, впрочем, промотать перед тем всежитое актрисой годами тяжелого труда.

От удара она уже не оправилась. Начались хвори, в лицо дышала близкая старость — словом, иставала, точно Снегурочка в огне, если воспользоваться образом другой знаменитой пьесы Островского.

«Я пишу вам это письмо и плачу, все прошедшее, как живой человек, стоит передо мной; нет, не хочу больше ни слова, прошедшего нет более нигде...»

Это была последняя весточка прославленному драматургу той, что предпочла спокойному, надежному, почетному супружеству бурный костер любви. Который и спалил ее.

Руслан КИРЕЕВ.

Уроки любви

ГРОЗА

Еще одна драма Островского. Но не в театре, а в жизни

1749 - 1994 - 26 марта - С. П.

«...До смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится».

Монолог звучал не в голове сочинителя, а произносился самым что ни на есть живым голосом — голосом той, кого он готов был слушать бесконечно: сани-то, куда пригласили сестр озябшего драматурга, принадлежали Любови Косицкой. «Любовь Павловна, — запечатлел эти минуты один из очевидцев, — размечталась и стала припоминать разные случаи своего детства, как отрадно звонили для нее колокола ее родного города... Спутник все это слушал, слушал вестим, поэтическим слухом и — после вложил в один из самых удачных монологов Катерины... в «Грозе».

Письма Островского к Любови Павловне не сохранились, а письма эти, судя по ее ответам (ответы уцелели), были горячими: этот тяжеловатый, этот флегматичный на первый взгляд человек умел зажигаться при виде женской красоты. Зажигаться и гореть».

Еще в большей степени этим качеством обладала Любовь Косицкая — «женщина с страстной натурой и сильным характером». Именно так определил Островский в разговоре с одной провинциальной актрисой свою Катерину, но мы-то знаем, кем навеян этот образ.

«Что мне хочется, то и сделаю». Слова эти принадлежат Катерине и свидетельствуют о том, что она хорошо знает себя. «Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу».

И не обманывает... И не скрывает...

«С чего-то мне кажется, что я поступаю нехорошо, что я виновата перед кем-то, а в чем и как, не могу дать себе отчет».

А вот уже этих слов в пьесе нет, хотя «лучшая из Катерин»,

здесь уже рука выводит «Ваше» с большой буквы (когда о «прикосновении» писала, было с маленькой), — знаю чистоту души Вашей, знаю, что Вы не в игрушки играете...»

Все, стало быть, всерьез, он предлагает навсегда соединить их судьбы, но она не торопится с согласием («Я, — признается ему в письме, — как чернорабочий, и день и ночь тружусь над моими думами и влечениями сердца»), она готова в иные минуты сказать «да», но «при этой мысли, — читаем в том же письме, — мне стало холодно».

Вот так холодно... Но не потому, что от него, вечно зябнувшего, мало тепла — ладно бы физического, но и сердечного, вовсе нет! «Вы так тепло смотрите, так много ласки в Вашем голосе, да, приласкайте меня, но не любите...»

Эта несколько сумбурная фраза стоит того, чтобы перечитать ее, вникая в смысл, и дважды, и трижды. Смысл-то поразительный! У многих ли женщин повернется язык сказать такое? Много ли женщин, соглашаясь, чтобы их ласкали, способны одновременно просить, почти заклинать, чтобы их при этом не любили? Что за нелепый каприз? Или не каприз — другое?

«Мне кажется, я не сумею заплатить Вам тем же».

Так, набравшись духу, написала Любовь Косицкая Александру Островскому — в ответ на его признания, на его призывы и клятвы верности. Она верила этим признаниям, верила клятвам и торжественным обещаниям, верила, что будет любить ее до гробовой доски, но...

«...Мне кажется, я не сумею заплатить Вам тем же».

Именно ему заплатить, ему — великий знаток женской души хорошо понял это.

«Вот я и жду чего-то! — сокрушено говорит его Катерина. — А чего жду — и не знаю, и вообразить не могу; только бьет-

когда после московского триумфа пьеса «Не в свои сани не садись» готовилась для постановки в Берлине, Островский написал к ней небольшой комментарий и там обронил о своей героине пророческие слова: «Любовь для нее была горем и несчастьем».

И о героине, и — безотчетно — о ее первой исполнительнице. Как в воду смотрел... Хотя исполнительница, разумеется, тогда еще не подозревала, чем обернется для нее закрутившее ее чувство.

Не к Островскому — с Островским все было спокойно (относительно спокойно), она понимала, что подлинной любви — с ее стороны! — здесь нет, и прямо говорила ему об этом, а он выслушивал и с тревогой ждал, что рано или поздно придет подлинная.

Не сомневался: придет. И еще не сомневался, что предметом ее будет, увя, некая разновидность выведенного им краснобая.

На эту тему у него, вообще-то не любящего теоретизировать, есть даже целый пассаж. «Часто и так бывает, — писал в одной из статей, — что женщина долго, долго тратит свою прекрасную душу на идеал, созданный ее же юным, неопытным воображением; мало-помалу туман расходит, мечты улетают одна за другой, и действительность является или в лице пошло актерствующего, или, чаще, в лице самого обыкновенного светского молодого человека; позднее раскаяние наполняет сердце женщины, безвыходное негодование на себя, на свою даром растраченную душу».

Так все и вышло. Купеческий сынок по фамилии Соколов въехал в жизнь знаменитой актрисы на рессорном, заваленном цветами экипаже — браво, веселый, уверенный в себе. Она знала: не в свой экипаж, как и не в свои сани, лучше не садиться, но... «Что ж мне де-